

**И** все же... Последнее прибежище человека не там, где покоятся его останки. А там, где нашла покой его душа. Истина ли это в абсолюте. Или довольно спорная истина. Жаль, что Марина Цветаева на это не ответит. Серебряный голос Серебряного века поэзии уже не зазвучит... 31 августа исполняется 75 лет с ее ухода. Добровольного ухода из жизни. В Елабуге. Где и покоятся ее останки. «Пора снимать янтарь, / Пора менять словарь, / Пора гасить фонарь / Наддверный...» А душа ее нашла покой в Тарусе. «Кто создан из камня, кто создан из глины, — / А я серебрюсь и сверкаю! / Мне дело — измена, мне имя — Марина, / Я — бrenная пена морская...» Нашла ли? Ведь сама Марина так этого хотела.

«Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая крас-

ная и крупная в наших местах земляника. Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уж нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили, с тарусской каменоломни, камень: “Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева”...» Ее желание исполнилось. Увы, но желания исполняются в основном после ухода. Когда уже навсегда захлопывается дверь. Когда гаснет «фонарь наддверный»...

На высоком берегу «ленивой» Оки меж «сонных» лугов стоит камень — тарусский доломит. И надпись: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева». А к нему ведет дорога — прямо от храма Воскресения. А от него — к роднику. И непременно к «дереву желаний». Повязал ленточку на цветущей черемухе, загадал желание — и оно непременно исполнится (если бы все было так просто...). А чуть



Анастасия (слева) и Марина Цветаевы. Ялта, 1905 год

далее — длинный овраг, название которому придумала Марина Цветаева — «Долина грез». Пожалуй, для нее желания были всего лишь грезами. И вместо оврага грезилась долина. Где «Колокола звонят в тени, / Спешат удары за ударом, / И всё поют о добром, старом, / О детском времени они...»

В детстве порой хочется быть поэтом. А в детстве, проведенном на берегу Оки, в Тарусе, им захочется стать навсегда. Особенно рожденной на исходе XIX века в Москве. Особенно когда «Спорили сотни / Колоколов, / День был субботний: Иоанн Богослов...» Особенно воспитанной в высокоинтеллектуальной семье... Особенно получившей прекрасное образование. Начитавшейся Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Байрона и Ростана... Волей-неволей начнешь писать стихи с шестилетнего возраста. Не только по-русски. Но и по-французски, и по-немецки. А в восемнадцать уже выпустить свой первый сборник «Вечерний альбом». За которым — «Волшебный фонарь» и «Из двух книг».

«Моим стихам, написанным так рано, / Что и не знала я, что я — поэт, / Сорвавшимся, как брызги из фонтана, / Как искры из ракет...» Немного самоиронии. Много веры. И абсолютно точное попадание в будущее. И кажется, что впереди только, только и только счастье, успех! И опять счастье! Как «брызги из фонтана» и «искры из ракет». И жизнь на одном дыхании. И на одном дыхании творчество. На таком мимолетном дыхании. Запечатленном навеки на одном из зданий в университетском нидерландском городке Лейден. Как предсказание, как утешение для всех: «Разбросанным в пыли по магазинам / (Где их никто не брал и не берет!), / Моим стихам, как драгоценным винам, / Настанет свой черед...»

Впрочем, настоящая поэзия всегда вне очереди. Хотя ждать все равно приходится... Но юная

Марина еще не знала, что ждать «свой черед» ей придется всю жизнь. А тогда путь, ведущий от храма Воскресения, указан. Только куда он приведет? К долине грез или оврагу слез? Впрочем, иногда это одно и то же. Камень на крутом берегу Оки. Трагедия на берегу счастья. А счастья нет и нет... Оно где-то там, в овраге. До него не добраться, если только не упасть... «А во лбу моем — знай! — / Звезды горят. / В правой рученьке — рай, / В левой рученьке — ад. / Есть и шелковый пояс — / От всех мытарств...»

Ее стихи — ее характер. Неуступчивый, неугомонный, нервный, несмирный, негармоничный, нелогичный... И еще тысячи «не», в которых не остается места такому простому «да». «Я слишком сама любила / Смеяться, когда нельзя!..» Она всегда жила «с этой безмерностью в мире мер». Чтобы непременно было — нельзя! Особенно — когда можно. И чтобы непременно было — можно! Особенно — когда нельзя. «Начинать наугад с конца, / И кончать еще до начала». Она всегда говорила миру — нет! И поэтому ей мир не мог ответить — да! И поэтому она оставалась в нем чужой. И всегда была чужой среди своих. А своей среди чужих так и не стала. Ее характер определил ее судьбу. Впрочем, разве по-другому бывает?

Цветаева заявила Революции — нет. И слышать не хотела своего обожаемого Блока, который призвал «слушать Революцию». Революция не обиделась. Ее по-прежнему приглашали на поэтические вечера. И даже государственное издательство выпустило две ее книги — «Версты» и поэму-сказку «Царь-Девница». Стихи ее в печати высоко оценили. Революция ее не упрекнула. А она вслед за мужем уехала за границу. Вначале в Прагу, потом в Париж. Эмиграция приняла ее с распростертыми объятиями. Дружественно похлопала по плечу за отказ от Советской России. Напечатала сборники «Разлука», «Психея», «Ремесло»... А Марина Цветаева отвернулась. И тут же ответила эмиграции — нет! И встала, как всегда, — в оппозицию, уже к эмигрантскому окружению. Ее не простили. Еще бы: она себе позволяет заявить: «России меня научила Революция». Или позднее: «Признай, минуй, отвергни Революцию — все равно она уже в тебе — и извечно... ни одного крупного русского поэта современности, у которого после Революции не дрогнул и не вырос голос, — нет».

Опять ее извечное, излюбленное — нет! Но уже в совершенно другом контексте. Своему жизненному принципу «одна из всех — за всех — противу всех!» она так никогда и не изменила.

Она сама вынесла себе приговор. Обрела себя на нищету, голод, ненависть. Ее, ярую обличив

тельницу расизма, фашизма и черносотенства, эмигрантская пресса объявляет вне своих законов, «почувяв не свое — тамошнее». Через двенадцать лет полугодного существования Цветаева напишет: «Надо мной здесь люто издеваются, играя на моей гордыне, моей нужде и моем бесправии (защиты — нет)... Живем, то есть просто медленно подышаем с голоду...» И все же — «знаю, что до последней строки буду писать сильно».

И она работала, работала, работала. Отчаянно борясь с болезнями и нищетой. Отвергнутая, одинокая, чужая. «Забудешь ты мой профиль горбоносый, / И лоб в апофеозе папиросы, / И вечный смех мой, коим всех морочу, / И сотню на руке моей рабочей...» И перо все сильнее сжимала в ладони. Чтобы создать сотни лирических стихов. Семнадцать поэм. Восемь драм. А еще мемуары. Философско-критическую, историческую прозу. Чтобы потом, потом быть переведенной на все европейские языки. И на все основные языки мира. Чтобы после физического возвращения на Родину случилось, наконец, Возвращение. И оно случится... неизбежно.

Чувство, честность и честь — вот ее высшие принципы в искусстве. Даже если порой ошибаешься в жизни. Если порой не всегда честна и чувствительна. И не всегда есть силы выходить с честью из жизненных ситуаций. Ошибиться в искусстве невозможно. Непозволительно. Отсюда перебои ритма в стихах — как перебои ритма сердца. Отсюда взволнованность рифмы — как взволнованность дыхания. И конечно, много-много любви. Бесперывной, нескончаемой, неугасаемой. Любви к мужчине, другу, народу, миру, Родине. Такой многообразной любви.

И объяснения в любви такие разные. И бытовые, и торжественные. И печальные, и насмешливые. И глубокие, и легкомысленные. Как цветовая палитра языка. Как цветовая палитра жизни. Как у Марины Цветаевой. Когда «неподражаемо жлет жизнь». А «дождь убаюкивает боль». Когда «мне нравится, что вы больны не мной, мне нравится, что я больна не вами». Когда возможно «быть как стебель и быть как сталь в жизни, где мы так мало можем... — Шоколадом лечить печаль, И смеяться в лицо прохожим!» И тут же передать «Русской ржи от меня поклон...» А потом с гордостью заявить: «Сегодня — да здравствует Советский Союз! За вас каждым мускулом Держусь — и горжусь, Челюскинцы — русские!..»

А по Европе уже маршировал фашизм. Как же она его ненавидела! «Не умрешь, народ! Бог тебя хранит! Сердцем дал — гранат, Грудью дал — гранит...»



Сергей Эфрон и Марина Цветаева. Москва, 1911 год

В это время Марина Цветаева живет одной мыслью — возвращением на Родину. «Нас родина не позовет! / Езжай, мой сын, домой — вперед — / В свой край, в свой век, в свой час, — от нас...» И Родина ее приняла. В Москве она занимается переводами. Готовит новую книгу стихов... Только бы не было войны.

Но в июне 41-го война переступила порог каждого дома. В июле 41-го Марина Цветаева вместе с сыном эвакуируется в Елабугу. В августе 41-го она со свойственной ей «безмерностью» вновь заявляет — нет! Но уже не врагам и друзьям. Не странам и континентам. Не политике и искусству. А самой жизни. Она вновь в оппозиции. Но уже к жизни. Поворачивается к ней спиной. И добровольно уходит. Не забыв погасить «фонарь наддверный». Ох уж это ее упрямое — нет! Или все-таки — да? «Я — это да, / Да — навсегда, / Да — вопреки, / Да — через все!..»

«Послушайте! — Еще меня любите / За то, что я умру...» — написала она в двадцать один год. В юности легко думать о смерти, когда та еще так далека. Потом уже думать о ней не хочется. Потом хочется думать, что «Смерть — это не конец! / Смерть — это цензорские ножницы в поэму». Конечно, не конец. Ведь поэмы никогда не заканчиваются. Ведь так же медленно течет серебряная Ока. Та же дорога неторопливо ведет тебя к храму Воскресения. И так же легко можно загадать желание на цветке черемухи. И оно непременно сбудется. Потому что «долина грез» — это не грезы, а реальность. «Мне и донине / Хочется грызть / Жаркой рябины / Горькую кисть».

Поэмы жизни не заканчиваются. Их дописывают другие. Потом еще другие. Потом еще и еще другие. Не закончилась и поэма Марины Цветаевой. Просто прервалась на высокой трагической ноте, сорвавшейся в вечность... Как и еще у 99 писателей, которые потрясли мир.